

## **КООРДИНАТЫ ПОЭТИЧЕСКОГО МИРОЗДАНИЯ М. МОРАВСКОЙ: СТРАНСТВИЕ, ОДИНОЧЕСТВО, ДЕТСТВО**

Несмотря на то что имя Марии Моравской все чаще упоминается литературоведами, серьезное изучение ее творчества только начинается. Факты биографии поэтессы попытался собрать и обобщить В.В. Попов, хотя это оказалось довольно проблематично; фрагмент образной системы Моравской, связанный с растениями, рассматривается в книге О. Кушлиной «Страстоцвет, или Петербургские подоконники». Однако как целостное явление ее поэзия пока не рассматривалась. Моравская выпустила несколько поэтических книг для взрослых («На пристани»,

1914, «Золушка думает», 1915, а также посвященную военной тематике книгу «Стихи о войне», 1914) и одну – для детей («Апельсиновые корки», 1914). И в детских, и во «взрослых» стихотворениях прослеживается ряд сквозных мотивов, которые и определяют своеобразие ее мировоззрения.

В поэзии Моравской «для взрослых» доминируют мотив странствий (реализующийся как путешествия, бегство, мечты о дальних странах, а также как экзотические растения и животные в условиях петербургского быта) и образ Золушки, имеющий автобиографическое обоснование: Моравская в три года осталась без матери и всегда конфликтовала с мачехой – матерью других детей ее отца. С этими мотивами связаны названия двух «взрослых» книжек Моравской – «На пристани» (1914) и «Золушка думает» (1915).

Страсть к путешествиям (сначала в мечтах, а потом и в реальности) вряд ли можно трактовать как прихоть изнеженной дамочки, желание поехать на юг, ближе к солнышку (именно так вслед за своей матерью охарактеризовал содержание первой книги Моравской А. Блок [7, с. 192]). Это желание убежать скорее не от холодных мест, а от человеческого холода, возможно, от пошлости идущей по накатанной колее городской жизни. Перемена места устойчиво связывается Моравской с переменной обычного течения жизни. В сборнике «На пристани» отчетливо выстраивается противопоставление холодного Петербурга (где туман, грязь, лед, лужи и т.п.) и вполне реального, но недостижимого «юга», знаки которого обнаруживаются в петербургской предметной реальности. Это растения – ветка жасмина, гиацинты из «магазина, "где цветы из Ниццы"» [5, с. 19], «чахлый кактус» [5, с. 56], бананы, фиалки и т.п.; экзотические географические названия («Батавия, Чили, Голулу...» [5, с. 9]); предметы, ассоциирующиеся с «югом» (марка из Судана, разноцветные ткани: «Яркий атлас – солнечного цвета, / Шелк, ясно-синий, как небо и море» [5, с. 37], старые сандалии и др.); поезда и пароходы и, соответственно, вокзалы и пристани. Кроме того, «зябкость» жительницы «севера» постоянно противопоставляется «южному» «огню». Оппозицию «севера» (серой реальностью) и «юга» (мечты), впрочем, нельзя приравнивать к символистскому двоюмирию. Разделение мира происходит «по горизонтали» и преодолеть границу между «севером» и «югом» физически легко. Однако это оказывается невозможно психологически: «Я гляжу на мерцание маяка, / Улыбаюсь, волнуясь и мечтаю... / Быть может, я тоже уезжаю? – / Не надо последнего гудка!» [5, с. 9] («На пристани»). Обольщение «югом» воспринимается героиней М. Моравской как заведомая «подделка»: «Так по-книжному я думаю о южной природе, / Я не видела жарких стран...» [5, с. 15] – признается она в стихотворении «Уехать». Стремление на «юг» оказывается жадной преодолеть «вселенское» одиночество человека, затерянного в большом городе: «Быть может, в стране далекой, / На чужбине, меня ожидают?» [5, с. 48]. Однако и эта надежда призрачна: «Я здесь чужая, буду там чужая» [5, с. 49].

Образ Золушки (который во второй «взрослой» книге Моравской акцентируется) также можно связать с темой одиночества, стремлением к естественной природе. Это отметил и критик, давший отзыв на книгу: «по натуре своей не городская «Золушка» страдает в импрессионистской атмосфере городских чувств и переживаний» [6]. Однако с образом Золушки связан и другой момент, который сама Моравская обозначила как «ужас материнства» (так назван целый раздел в книге «Золушка думает»). Здесь раскрывается специфика отношения «взрослой» Моравской (ибо этот мотив явно автобиографичен) к детям. «Ужас материнства» связан у героини Моравской с настоящей фобией беременности и, следовательно, ее антиэстетизацией (например: «Мне страшно, что зародыш копошится, / Словно червь ест живое тело» [4, с. 76] и др.), а также с недопусти-

мостью этого состояния для себя самой («*Такое кукольное мое тело, / А вы хотите, чтоб я имела / Настоящих детей!*» [4, с. 74] («Не говорите мне о детях...»). Нежелание иметь ребенка получает у героини и своеобразную этическую мотивацию: во-первых, ей «*и одной не спастись*» [4, с. 74]; во-вторых, она хочет избежать зависти: «*Я не хочу иметь детей, – / Моя мама умерла. <...> Я завидовать не хочу / Моему собственному ребенку*» [4, с. 75]. В связи с этим достаточно своеобразно выглядит и следующий за «Ужасом материнства» раздел «Мои дети». Герои его стихотворений – дети в лучшем случае одинокие, беспризорные (маленький воришка, который на вербе «*отщипнул цветок аленький / От ветки маменькиного сынка*» [4, с. 79], сверхсерьезная Ривочка), в худшем – обреченные на смерть (это дети из экзотических стран: маленький китаец Юнгх-Кона: «*Боюсь, его простудит серый май, / И отсыреет скоро бубен звонкий... / Его косичке, гладенькой и тонкой, / Не расстрепаться на пути в Шанхай*» [4, с. 80]; «дикарята» из стихотворения «Лунный день»). Маленькие герои Моравской очень близки к ее лирической героине, страдающей в тисках города; возможно, и беременность для нее неприемлема потому, что является знаком «взрослости»: имеющая детей уже не может сама быть ребенком. Эту мысль подтверждает чудовищное, по мнению поэтессы, совмещение в одной женщине черт детскости и беременности: «*Так нежно зовут ее: Лиля. / Полудетская грудь у нее... /... / У нее глаза, как небо, / И уродливый грузный живот*» [4, с. 6].

Мотив Золушки в детских стихотворениях М. Моравской эксплицитно не проявлен (хотя многих из ее героев, как и Золушку, можно отнести к категории «нелюбимых детей»). Однако именно его наличием в художественном мире писательницы мы склонны объяснять чуткое и бережное отношение к миру детства и необычайно легкое проникновение в него, свойственное ее стихам и необычное для детской поэзии ее времени.

Название детской книги Моравской, «Апельсиновые корки», фиксирует два центральных ее мотива. Во-первых, экзотика: апельсин – южное растение, а кроме того, явная отсылка к мотиву южных стран, как, например, в стихотворении «Апельсиновая страна». А во-вторых, одиночество: в одноименном книге стихотворении герой-ребенок, покинутый взрослыми в одиночестве, использует апельсиновые корки для «выжимания» слез; можно сказать, это средство протеста против равнодушия взрослых: «*Запасусь опять слезами, / буду плакать хоть полдня, – / пусть придут, увидят сами, / как обидели меня*» [3, с. 17]. Впрочем, и одиночество, и жажда странствий в детских стихотворениях Моравской разведены довольно далеко и лишены трагического оттенка, присущего ее «взрослой» поэзии; часто они трактуются в юмористическом (а по отношению к «взрослым» стихотворениям – в ироническом) ключе. Именно здесь ребенок – тот, кто прежде всего имеет право на существование и свободу действий.

Антропоцентризм в детских стихотворениях Моравской проявлен едва ли не наиболее четко, чем во всей детской поэзии Серебряного века. В центре ее внимания – ребенок «как таковой», и детская психология в большинстве случаев улавливается поэтессой очень тонко. «Детский» мир у Моравской отчетливо отделен от «взрослого», при этом поэтессе неведомо изображение счастливой семьи. Даже если семья присутствует, ее старшие члены находятся в противостоянии с маленьким героем и описываются схематически. Зато его «внутренняя» и «внешняя» жизнь рисуется в мельчайших подробностях, чаще всего через его собственное восприятие; как следствие, события большинства детских стихотворений М. Моравской происходят «здесь» и «сейчас». Внешний мир интересует поэтессу прежде всего как окружение героя-ребенка, поэтому он переполнен

подробностями детского быта, начиная от разорванных штанишек, самодельных удочек, «вербных» игрушек и заканчивая школьными ранцами (далеко не всегда желанными). Через предпочитаемые героем М. Моравской игрушки и развлечения мы узнаем о его характере. Чаще всего это человек действия – поэтому интереснее всего ему на улице. Характерный образец ребенка, скучающего дома, можно найти в стихотворении «В непогоду», герой которого сетует на дождливое лето: *«Если ж будет так и далее, / Под кровать швырну сандали / и по лужам скоро-скоро / без оглядки, прямо в горы / убегу я босиком / С пастушонком Васильком!..»* [3, с. 20]. Характерны и любимые развлечения героя стихотворения «Мечты» (без них он не сможет жить, если осуществится его «мечта» – бегство в Африку): *«Ну, а как же я буду в апреле / Без базара на вербной неделе? / Жалко также и новых коньков: / Там, пожалуй, не будет катков... / Жалко маму, котенка и братца... / Нет, уж лучше остаться...»* [3, с. 15]. Игрушкам, даже самым лучшим, герои М. Моравской обязательно предпочтут *«что-нибудь живое»* [8, с. 596].

Общение с животными – особая тема для М. Моравской. Ее герои-дети всегда рады встрече с представителями фауны, даже если это тарантулы (*«Я вас очень – всех – люблю... / Только чур, кусать не надо, — / Задаваю!»* [3, с. 23], «Тарантул»). Два раздела в книге М. Моравской «Апельсиновые корки» посвящены животным («Звери обиженные» и «Звери веселые»). Из первого («Звери обиженные») читатель-ребенок может получить представление о несчастьях, знакомых и людям, – одиночестве («Покинутый»), старости («Черепашье горе»), болезнях («Большая обезьянка», «Отчего тигр болен»), даже о горе матери, у которой отняли ребенка («Волчья тоска»); встречаются и забавные жалобы: например, слон протестует против того, чтобы его изображали на ластиках. Одним из важнейших поводов для жалоб зверей можно считать неволю. Наиболее четко это высказано в стихотворении «Сова»: *«Пусть не лгут, пусть не лгут / Человечьи слова, / Что хороший приют – / Человечий приют. / Клетка мучит меня, / Все леса – для меня. / Я – сова»* [3, с. 39]. Знаменательно, что действие стихотворений раздела «Звери счастливые» только в одном случае происходит в зверинце (« Попрошайки»). Несвобода оказывается невыносимой для всех героев детских стихотворений М. Моравской – и для детей, и для животных.

Неволе, заточению у нее часто противопоставляется страсть к путешествиям, экзотике. Обезьянка у шарманщика, естественно, мечтает о недосыгаемой Апельсинии, где *«превкусные орехи, / И на листьях мягко спать. / И не надо для потехи / Под шарманку танцевать»* [3, с. 7]. Герой стихотворения «Беглец», сбежавший в Америку и изловленный на вокзале родителями, получает в подарок от сестры – героини стихотворения – закладку для книжки с надписью: *«Герою, попавшему в неволю»* [3, с. 19]. «Заключением» в темной комнате наказан за шалости и явно не чувствующий своей вины «полковник краснокожих» («Пленный охотник»). В отличие от «взрослых» стихотворений, в детской поэзии Моравской маленькие герои успешно преодолевают препятствия к своим путешествиям, которые часто имеют характер игры (в уже названных примерах это игры в «индейцев»; бегство в Америку – тоже своего рода игра).

Игра – одно из основных средств, позволяющих М. Моравской обособить «детский» мир от «взрослого». При этом задействуются различные культурные функции игры, которые реализуются на разных художественных уровнях произведений.

Во-первых, игра у М. Моравской вполне может рассматриваться как особый, свойственный ребенку (или молодому животному) вид деятельности. Правомерными применительно к ее поэзии выглядят и актуальные для культуры Серебряного века представления о древности как об общечеловеческом «детстве». При

упоминании, описании детских игр у М. Моравской мы находим поразительные совпадения с воспоминаниями Аделаиды Герцык «Из мира детских игр» и статьей Максимилиана Волошина (с которым, кстати, Моравская была хорошо знакома) «Откровения детских игр». Это, во-первых, далекий отрыв детского мира от взрослого, для М. Волошина сравнимый с «непроходимой пропастью» между отдаленными эпохами или жизнью на разных планетах [5, с. 494]. Подобным образом у М. Моравской старшие часто не понимают маленьких героев, рассуждают совершенно иначе, имеют совершенно другие приоритеты и ценности. Так, в стихотворении «Купальщики» Петрусь (лирическое «я») хочет искупаться в песке, как воробышек, но боится порицаний матери и товарищей. В стихотворении «Апельсиновые корки» ребенок брошен взрослыми, которые как раз в тот момент, когда они ему нужны, исчезли. Солдат в стихотворении «Стрелок» начинает читать маленькому герою лекцию о недопустимости убивать птиц, на что малыш отвечает: *«Вот так, батеньки, солдат... / Жалостливый – страсть. / Не кори без толку, брат: / Мне ведь не попасть»* [3, с. 22].

Особенно показательны стихотворения «Беглец» и «Пленный охотник», где взрослые и дети демонстрируют совершенно разные представления о мире. В первом из них Гришка, брат лирической героини, решил сбежать в Америку. Это заслуживает полного одобрения со стороны девочки; совершенно иного мнения придерживается отец детей: *«Папа долго его ругал, / Путешествия называл ерундой...»* [3, с. 19]. Не считают Гришку героем и другие взрослые члены семьи, которые *«впали в истерику»* [3, с. 19], узнав о пропаже ребенка. Не менее острый конфликт со старшими возникает у играющего ребенка – героя стихотворения «Пленный охотник». Мальчик целиком захвачен игрой (недаром в первой же строке он себя рекомендует: *«Я – полковник краснокожих»* [3, с. 28]). Стреляя по воображаемому (но для него абсолютно реальным!) буйволу, он случайно попадает в «барышню». Взрослые запирают его одного в темной детской, сопроводив наказанием укорами: *«Ах, как стыдно, ах, как гадко! / И зачем тебе рогатка?»* [3, с. 28]. Но даже во «вражеском» плену ребенок не хочет возвращаться из игровой реальности к обыденной жизни: он по-прежнему воображает себя индейцем и не принимает всерьез порицаний взрослых: *«Тихо скину мокасины, / Обвяжусь веревкой длинной / И спущусь с окошка в сад, – / Пусть бранят...»* [3, с. 28].

Для Герцык, как, вероятно, и для Моравской, важен и эмоциональный фактор: мир взрослых воспринимается ими как однообразный, скучный, бессмысленный, а взрослые – как глупые люди, не умеющие «пользоваться своей безнаказанностью и свободой» [2, с. 35].

Еще одна особенность осмысления детства М. Волошиным и А. Герцык – внимание к детской «обрядности», присущей детям тяге обставлять свою жизнь таинственными ритуалами. Знаменательно наличие и у М. Моравской стихотворения, посвященного той же теме («Похороны цыпленка»). Заметим, что обряды и ритуалы присутствуют не только в поэзии Моравской; их включение в детские произведения было достаточно характерным для литературы Серебряного века явлением. А. Ремизов широко использует в своих произведениях переработанные в соответствии с собственной мифологией элементы народных обрядов, магических игр и т.п. В стихотворении П. Потемкина «Охота» похоронный плач оказывается одним из элементов гротескной версии «подписи к картинке» Ф.Б. Миллера «Раз-два-три-четыре-пять...». Однако у М. Моравской похоронный ритуал, неразрывно слитый с детской игрой, воссоздается при помощи «наивного письма», имитирующего точку зрения самого ребенка. Все стадии ритуала описываются последовательно и подробно: *«Саван шли, ямку рыли, / Распевали тонко... / На могилке кипарисы / Посадили, полили... / И, стащив у мамы рису /*

*Коливо готовили. / Были свечи, были дроги, / Все играли дружно* [3, с. 9]. Есть и в этом стихотворении персонаж, который высказывает «прагматическую» точку зрения. Это «строгий ворон», который *«не прочь бы просто скушать / Дохлого цыпленка»* [3, с. 9]. Не с обрядностью, но также с древними элементами мироощущения (в частности – с мифом об Антее) связана ситуация в стихотворении «Купальщички».

М. Волошин и А. Герцык говорят также о неосознанном садизме и жестокости, которые проявляются в детских играх, и связывают его с этапом, когда ребенок начинает познавать сущность страданий. У М. Моравской мотив жестокости чаще объясняется тем, что ее маленькие герои еще не понимают некоторых законов природы: если кота потянуть за усы, ему больно (а вовсе не *«жалко пары волосков»*) [3, с. 9], как думает герой стихотворения «Рыболов»; если котика показать птенчиков, он их съест («Грустная история»). Такая трактовка детского «садизма» у М. Моравской также может быть отнесена к числу элементов «наивного письма», проявившихся в ее поэзии.

Во многих из рассмотренных случаев можно говорить не только о «копировании» детского мышления как об элементе творческого метода. Здесь реализуется типичная для культуры модернизма концепция игры – жизни: ведь «роли», принятые на себя маленькими героями М. Моравской, не менее, а, возможно, даже более реальны для них, чем «узаконенная» взрослыми обыденность.

Игровое начало в поэзии М. Моравской проявляется и в ином аспекте: как игра со словами, значительно пополняющая арсенал художественных средств поэтессы. Наиболее ярко это проявляется в подборе рифм – подчас весьма смелых и оригинальных (*апельсин – дин-дин-дин; ну-с – ус; яблоки – зяблики; Америку – истерику – мерку; златоокая – сорока; наелись – прелесть; логова – сероголового; кутья – и я; повозка – завоздка и др.*). В этих попытках формальной игры, для детской поэзии начала XX века достаточно смелых, проявляется еще одно преимущество игрового осмысления жизни: творческая раскрепощенность, а следовательно, большее богатство и разнообразие игровой «реальности» по сравнению с «внеигровой» жизнью.

Игровое начало в контексте всей поэзии М. Моравской можно, наряду с образом «юга», рассматривать как вариант бегства из «взрослого» / «северного» мира, где царит серость, холод и одиночество. И детство, и «юг» у нее связываются с естественностью (южная природа – противовес «северному» городу; ребенок – «естественный человек»). Так же как и юг, детство у М. Моравской тепло и солнечно, связано с понятием свободы, но оно так же и недостижимо. Общение с детьми приносит «взрослой» лирической героине Моравской только временное избавление от одиночества и «тяги земной»: *«Ах, петь бы под солнцем о малых зайчатах, / Ах, петь на свету, и чтоб полдень был вечно! / Веселой, смешливою быть и беспечной, / Не помнить, не помнить о мгlistых закатах... / Не думать бы в парке вечером росным, / О том, что я Золушка, грустная, взрослая»* [4, с. 9].

Таким образом, в модели мира, зафиксированной в поэзии М. Моравской, четко прослеживается бинарная оппозиция (в самом общем виде): серая душная реальность (которой соответствуют «север», город, «взрослость» и связанные с ними образы) противопоставляется неосуществимой мечте (представленной как «юг», дальние страны, детство). Однако в отличие от поэзии ранних символистов, для которой характерно сомнение «в ценности посюстороннего повседневного мира» и «в реальности другого, потустороннего мира» [9, с. 57], у М. Моравской мир мечты не связан с мистическими, трансцендентными сферами. И «юг», и детство принадлежат земному миру, и утрата связи с ними подготавливает постановку экзистенциальных проблем, путь решения которых поэтессе, скорее

всего, неизвестен, однако его существование у нее никогда не отрицается. Недаром во многих ее стихотворениях утверждается необходимость *преодолеть* холод и одиночество, а герои-дети в стычках со взрослыми одерживают моральную победу.

### ЛИТЕРАТУРА

1. **Волошин М.** Лики творчества. – Л.: «Наука», 1989. – 848 с.
2. **Герцык А.** Из мира детских игр // Рус. школа. – 1906. – № 3. – С. 31-45.
3. **Моравская М.Л.** Апельсиновые корки. – Пб.: Тип. Г.Шумахера и Б.Брукера, 1914. – 64 с.
4. **Моравская М.Л.** Золушка думает: Стихи. – Пг.: кн-во «Прометей» Н.Н. Михайлова. – 1915. – 106 с.
5. **Моравская М.Л.** На пристани: Стихи. – Пб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1914. – 95 с.
6. Мария Моравская: [Рецензия] // ИРЛИ, Ф. 212, ед. хр. № 40.
7. **Попов В.В.** Мария Людвиговна Моравская (попытка портрета) // Рус. литература. – 1998. – № 3. – С. 181-217.
8. Русская поэзия детям: В 2 т. – СПб.: Академич. проект, 1997. – Т. 1. – 768 с.
9. **Ханзен-Лёве А.** Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм / Пер. с нем. – СПб.: «Академический проект», 1999. – 512 с.

### SUMMARY

*The motives of wandering, loneliness and childhood in the poetry of M. Moravskaya are analyzed. The main characteristics of the poetic vision of the world in her works are ascertained on the base of this analysis.*